

ГЛАВА 5

Заправка коек, которая на армейском сленге называлась заглушкой КамАЗов, являлась настоящим ритуалом.

Курсанты трепетно относились к скрипучим четвероногим подругам. Это были безотказные женщины: в 22:00 солдаты бесцеремонно срывали синие покровы одеял с казенных красавиц и ныряли в их распахнутые объятия. Некоторое время бойцы занимались выбором поз для ночи любви. Все курсанты без исключения предпочитали работать сверху, при этом положения они выбирали как классические, так и авангардистские.

Классиков, как обычно, было меньшинство; они жилились на живот.

Авангардисты шли кто во что горазд. Один укладывался на правый бок и сворачивался ярмарочным калачом. Другой распластывался на левом боку «бегущим за водкой человеком». Любовник из третьего разряда ложился на спину и раскидывал конечности во все стороны, как морская звезда.

От жарких копошений служивых остывшие за день койки принимались покрывивать, постанывать и повизгивать, но продолжалось это недолго.

— Играем в три скрипа! — кричал дежурный по батарее. — Кто сделает четвертый, ночует на очках!.. Раз!.. Третье отделение артвзвода — два!..

Прохоров — три!.. Четыре! Опять ты, Прохоров?! Сгорел на очки!.. Отбой!

Несмотря на то, что мало кого из курсантов могла удовлетворить короткая армейская ночь, они всегда расплачивались с койками качественной заправкой.

Герц подошел к своей подруге. Он взял простыню и раскинул ее на матраце, как праздничную скатерть. Потом подогнул простыню здесь, подвернул ее там, натянул здесь и там, разгладил там и здесь и, выпрямившись, критически склонил голову набок, чтобы дать объективную оценку проделанной работе. Герц остался доволен собой и подругой.

«Не койка — царский стол», — подумал Александр.

В том, что перед курсантом был царский стол, нет никаких сомнений. Налицо имелось четыре ножки, а матрац был не иначе как из лиственницы. Вижу, что читатель не верит. Раз так — дуем в Венецию за доказательствами. Видишь, на чем стоит это государство, читатель?! Нет, не на воде. На сваях из лиственницы, затвердевших в вечной мокроте до алмазного состояния, Венеция держится. Матрацы в батарее были явно из предложенной автором породы дерева, потому как, пропитавшись на своем веку таким количеством жидкости, что ее хватило бы для устройства основательного потопа в миниатюрном государстве Люксембург, они не только не сгнили, но и донельзя затвердели. Тут, читатель, и пот, и кровь, и слезы, и неспра-

ведливо презируемая людьми влага, на которой зиджнется целое направление в медицине — ури- нотерапия.

Немного подгадила царскому столу лишь простыня, в защиту которой сразу скажем, что она, как и всякая армейская вещь, только маскировалась под пепел, а на самом деле была белой, как заяц-беляк в начале зимы. Простыня была удивительная, так как у нее имелись прорези для глаз, которые только человек без полета мысли принял бы за дыры. Зато всякому человеку с воображением, взглянувшему на эти дыры, сразу становилось понятно, что когда-то кто-то молодой играл для кого-то старого роль привидения. Может быть, даже внучок для деда, но настаивать не беремся. Точно одно: привидение было азиатского происхождения, потому что прорези для глаз напоминали щелки, а не то чтобы в них мог пролезть детский кулачок.

Дыры в середине простыни немного огорчили Герца, и он пошел на самообман. Александр склонился над койкой и как бы ненароком накрыл ладонью то место, которое портило царский стол. Он проделал все это с тем благоговением, с каким закрывают глаза усопшим. Достигнув желаемого результата, Герц позволил себе полюбоваться

творением собственных рук (одну из них никак нельзя было отрывать от центра простыни) ровно столько времени, сколько требуется человеку, чтобы почувствовать на своей спине комара и сгоряча промазать по нему.

Пришел черед пододеяльника. С этим атрибутом постельного белья Герц особо не церемонился. Причина грубого обращения с пододеяльником крылась в штампах, но не в тех штампах, за которые редакторы любят гонять писателей, а в самых натуральных армейских штампах синего цвета со смазанными звездами, нечеткими контурами и плохо тиснутыми буквами. Этих скверных казенных меток не постеснялся бы разве что первпечатник Иван Федоров, живший при царе, носившем такое же кроткое имя, но более грозную фамилию.

Штампов было целых три. Объяснялось это тем, что прапорщика, занимавшегося штампованием постельного белья, за работой посетила корыстная мысль. В какую-то минуту он решил, что не будет большого греха, если начать метить только каждый второй пододеяльник, каждую третью простыню, каждую четвертую наволочку, так как только собаки метят все подряд, а в армии такой подход не нужен.



— Как я потом все это на сторону сдам? — задал себе вопрос прапорщик и ответил: — Короче, хрен вам, а не штампы на новых простынях, тоже мне выдумали дурость. Вам, что ли, потом клиентов искать?! Мне ж крутиться, а с метками кто ж возьмет?! Еще скажете спасибо, что краску экономлю, не всякий раз болванку промачиваю. — Тут прапорщик неожиданно рассердился неизвестно на кого и в сердцах поставил на пододеяльнике целых три штампа (это был тот самый пододеяльник, которым спустя шесть лет восемь месяцев и четыре дня будет укрываться Герц). — Довольны?! — заорал прапорщик. — Ни на что теперь негодная вещь, бойцам только пойдет. Три штампа! Ну ничего, ничего. Трижды четыре — к двенадцати пододеяльникам теперь пальцем не прикоснись, на тринадцатом успокоюсь и только четырнадцатый проштампую.

Словом, три квадрата со звездами внутри покорибили эстетическое чувство Герца, и он заключил, что в пододеяльнике он не увидит ничего, кроме пододеяльника.

Темно-синие одеяла с незапамятных времен выполняли в армии роль покрывал и заправлялись не абы как, а так, чтобы всякий путешественник, зашедший в казарму с одноярусными кроватями, мог воскликнуть: «Вот она — легендарная гладь синего моря, которое пьяному по колено! Все сходится! Не выше и не ниже коленной чашечки! И хоть бы одна волна! Так нет же — полный штиль! Значит, все правда! И золотое руно — правда! И кисельные берега пить, то есть — есть! И былинных богатырей тоже следует искать здесь!»

Единственное украшение армейского одеяла — три параллельные друг другу коричневые или черные полосы, которые после заправки койки должны оказаться там, где во время сна находятся ноги солдата. По сравнению со стыковкой полос на соседних койках операция по стыковке шаттла с космической станцией выглядит присоединением обручального кольца к безымянному пальцу — то есть, безусловно, значимым, но примитивным по технологии процессом.

Взяв одеяло, Герц отметил, что в армии нет такого понятия, как дефицит. Казалось бы, уж наждачку-то днем с огнем не сыщешь. А вот и нет. Сейчас в руках Герца находилась вещь, шершавостью которой можно было легко и непринужденно уничтожить другую шершавость.

На этом достоинства одеяла не заканчивались. Начнем издали. Когда во время сна пододеяльник сбивался в кучу в ногах курсанта, то боец, как правило, ленился лезть за ним через всю койку. Двухметровое расстояние представлялось ра-

зоспавшемуся солдату марафонской дистанцией. Эти два метра казались курсанту непреодолимыми еще и потому, что их надо было покрыть в стужу. Почему в стужу? Потому что ночью, как известно, из организма выветривается тепло, и человеку всегда кажется, что высуну он нос из-под одеяла — и тот затрещит, как дерево на морозе, если, конечно, в ноздрях имеется сок, по густоте близкий к березовому. Словом, курсанту было лень прокладывать сбившийся ночью пододеяльник между собой и одеялом. Это прямой дорогой приводило ко второму достоинству одеяла — иглоукаливанию. Оно кололось, как кактус, но кто вам сказал, что лечебные процедуры всегда приятны телу? Тем более никто никогда не говорил, что после применения нетрадиционных методов оздоровления организма не будет побочных эффектов типа кожного зуда, как в нашем конкретном случае. Однако правды ради надо отметить, что чесотку вызывало не только колючее одеяло, но и его соучастница — бельевая вошь, в защиту которой на суде (если таковой состоится) автор обязательно скажет, что она была честной служакой в русской армии с незапамятных времен и вместе с солдатом стойко переносила все тяготы и лишения. Ее даже травили за это. Не сомневаюсь, что швивую преданность Родине непременно возьмут во внимание господа присяжные заседатели.

Герц бережно подвернул одеяло под матрац с дальней от себя стороны. Посмотрев по сторонам, он еще раз убедился в том, что товарищи находятся с ним на одной стадии заправки коек. Не глядя друг на друга, курсанты действовали почти одновременно. Все как бы равнялись на того несуществующего в списках батареи солдата, которого в мирное время называют среднестатистическим, в военное время — Неизвестным.

— Мистика, — поразился бы гражданский человек.

— Слаженность, — махнула бы рукой батарея на такое заявление.

А дальше то спокойное синее море, которому так удивлялся путешественник несколько абзацев тому назад, разом вздыбилось и пошло такими грозными волнами, которые легко могли накрыть собой кошку средней величины. И только трезво мыслящий человек без грамма соленой романтики в душе, по праву гордящийся каким-нибудь надежным именем Ипполит и не верящий в иронии судьбы, назвал бы бушевавший в казарме шторм обычным натягиванием одеял на матрацы.

Герц взялся за свисавшую с койки часть одеяла и потащил ее на себя. Матрац, под который перед

этим была подвернута другая часть одеяла, поднялся вверх и перегнулся, грозясь похоронить под собой упомянутую нами кошку средней величины, которая любит сон на хозяйской кровати не меньше сметаны. Прижав основание волны коленями к сетке, Герц ловко подвернул натянутую часть одеяла под матрац и, слегка надавив на гребень волны, завалил принадлежавший ему клочок водной стихии на койку.

Из-за некоторых неумелых Посейдонов, руки которых были заточены не под трезубец, а под огородные вилы, разволновавшееся море успокоилось не сразу. Вновь и вновь вздымалась синяя гладь в разных местах казармы; это курсанты из числа неумех продолжали добиваться идеальной натяжки одеял на матрацы. За качеством работ всегда строго следили Зевсы с наплечными лычками на зеленых туниках (и не дай кому-то олимпийский бог, если после заправки койки теннисный шарик не будет отскакивать от одеяла, как стишок от зубов отличника).

Проверка качества не заставила себя долго ждать. Вернувшийся из туалета сержант Кузельцов бросил:

— Кончили?

— Так точно, — гордо ответил Семенов за всех.

— А мой когда заглушили?

Этот, казалось бы, простой вопрос привел духов в замешательство, словно сержант спросил у них, когда была битва при Гастингсе. Ответ «когда, когда — тогда» был сразу отвергнут курсантами, потому что явно отдавал грубостью. Фраза «не можем знать» также не подходила, так как за ней непременно последовал бы дополнительный вопрос-угроза: «А кто тогда должен знать?» Указывать точное время на всякий случай (а мало ли, да и не знали!) тоже никто не спешил. Курсанты выпрямились на своих местах. Их лица сделались решительно тупыми, и даже Герц стал сносным натурщиком для картины «Деградация».

Кузельцов повторил вопрос, и курсанты, глупо улыбаясь, развели руками, что могло означать только одно: вот загвоздка, а ведь заправили же когда-то, КамАЗ-то вон как заглушен.

У выславшегося Кузельцова было отменное настроение, но духи этого не замечали. Они стали тугими на наблюдения, потому что военное утро высосало из них много физической и моральной энергии. Кузельцов непрестанно улыбался и делал это невпопад и даже как-то поэтически созерцательно. Несмотря на то, что он задал подчиненным предметный вопрос, ответ, по большому счету, его не интересовал. Ему просто хотелось

наполнить воздух звуками своего голоса — так он выпускал из себя лишнюю беспричинную радость.

— Че вылупились, воины? — хитро улыбнувшись, произнес Кузельцов. — Сегодня натяжка будет проверяться новым способом.

Курсанты первого отделения выдохнули, так как сержант окрестил их воинами, а не причислил к животному миру. От нормального обращения у духов отлегло от сердца, и они совсем не обратили внимания на то, что в своей короткой речи сержант упомянул какой-то там новый способ. Парни даже, грешным делом, подумали, что Кузельцов не такой уж и плохой человек. Курсанты явно поторопились с оценкой командира. Сержант был не просто неплохим человеком. Он был святым, потому что спокойно взял и пошел по синему морю, как когда-то один из апостолов. Господи, прости нас, грешных, за такое смелое сравнение, но раз Ты наделил людей чувством юмора, значит, таковое есть и у Тебя, потому как все мы созданы по Твоему образу и подобию.

Конечно, Кузельцову было далеко до святости, но факт остается фактом: он свободно разгуливал по синему морю из одеял, проваливаясь только в проходах между койками. Предположим, что такие казусы преследовали командира первого отделения вследствие того, что на каждой третьей кровати сержант начинал сомневаться в существовании Бога.

Море, которое Кузельцов начал месить ногами, разволновалось не сразу, потому что одеяла были так хорошо натянуты на матрацы, что какая-нибудь постаревшая поп-звезда, лицо которой изобиловало бороздами несельскохозяйственного назначения, обязательно воскликнула бы: «Покажите мне шейки всех этих коек! Не может быть, чтобы у коек не было шеек, на которые натягиваются морщины с лица!» Одеяла действительно были натянуты на матрацы до предела. Что там — даже отношения коммунистов с демократами в нашем Отечестве не были так натянуты, как одеяла на матрацы в артиллерийской батарее мотострелкового батальона гвардейской бригады быстрого реагирования.

Кузельцов прошелся по койкам раз-другой, но к чести моря надо сказать, что на начальной стадии хозяйственной деятельности человека оно лишь частично поддавалось на провокацию; кое-где образовались небольшие волны, и только. Однако сержант не успокоился на достигнутом результате. Он принялся бегать, и у моря начался припадок эпилепсии, о чем свидетельствовала обильно выступившая на нем грязно-белая пена, которую только человек без грамма фантазии принял бы за

куски простыней и пододеяльников, выбившихся из-под синих одеял. Но сержанты все было мало. Ему захотелось понизить уровень воды в море, и он стал прыгать по койкам — да так рьяно, что в воздухе его колени чуть не учинили драку с подбородком. После скачков, заимствованных Кузельцовым у занесенных в Красную книгу козлов (словом, козлов редкостных, козлов, каких мало), уровень воды начал стремительно падать... прямо на пол.

Другие сержанты спокойно отнеслись к поведению Кузельцова. Они занимались просмотром клипов по музыкальному каналу и думали: «Вразнос пошел бродяга. Бывает». И только замком-взвода Саркисян в какой-то момент не стерпел:

— Дуру не гони, зема. Эфир забиваешь.

Состояние духов из других отделений может показаться читателю небезынтересным. Они чувствовали то особенное возбуждение, которое бывает у солдат в нескольких километрах от идущего боя. Никто из них не радовался и не огорчался за первое отделение артвзвода. Они ощущали себя так, как во время военных действий чувствуют себя бойцы второй линии обороны и неглубокого тыла, когда первая линия еще не прорвана, но уже держится на волоске и вот-вот будет смята.

— Как бы до нас не докатилось, — переживали духи из других отделений.

Несмотря на то, что второму отделению артвзвода, находившемуся через проход от первого, вроде пока ничего не угрожало, оно выравнивало полосы на койках, убиралось в тумбочках,правляло ручные и ножные полотенца на душках лихорадочно и бестолково — с тем чувством, что скоро сражение завяжется и на их участке.

Третье отделение артвзвода, до которого доносилось лишь эхо войны, действовало собранно, четко и быстро, словно хотело качественно подготовиться к приходу неприятеля в свои пределы и не пропустить его в ПТУР-взвод.

Территория ПТУР-взвода, безусловно, была тылом, который все более углублялся от третьего отделения к первому. Здесь курсанты работали чуть быстрее и производительнее, чем обычно; тревога появлялась на их лицах только тогда, когда они бросали взгляды в ту сторону, где, по сводкам информбюро, громыхла война.

Когда Кузельцов отбушевал, его подчиненные занялись восстановлением порядка в отделении. С воодушевлением закопошились они на руинах — да так, что какой-нибудь весельчак и балагур, которого мы рады видеть в батарее не меньше путешественника и поп-звезды, не удержался бы от восхищения: «С обладателями этих

некислых мин можно смело идти в разведку! Мины что над, не подорвешься!»

Лишь койки были заправлены, армейское товарищество в первом отделении артвзвода распалось. За то, кто чем будет заниматься дальше, курсанты в кровь разодрались взглядами, потому что ругань и рукоприкладство духам запрещались. Испепелив Попова, Семенова и Календарева, Герц пошел в конец отделения, чтобы присесть на правое колено, закрыть левый глаз и заняться произношением слов «правее» и «левее», которые, бесспорно, были придуманы человечеством только для того, чтобы корректировать руки Куулар Серен-Оола, когда тот займется выравниванием полос на одеялах.

В конце отделения Герца ждала крупная по телосложению неприятность по фамилии Фаненштиль. Этот истинный ариец с лицом, напомиавшим растрескавшуюся репу, стоял, расставив ноги на ширине плеч и держа руки на ремне. Фаненштиль смотрел на Герца исподлобья, словно бык перед броском на матadora. Александр представлял собой идентичную крупнорогатую скотину, только более хитроумную. Животные, в отличие от людей, нередко могут договориться, не прибегая к насилию.

— Свалил отсюда, — повелительным тоном произнес Фаненштиль.

— Ага, щас, — огрызнулся Герц.

— Я не понял, ты че-то хочешь предъявить?

— Не, я на полосы пришел просто.

— Я тут — всосал?

— Вообще-то я кое с кем уже добазарился...

Глянь мне за спину.

— Ну, Куулар, и че?

— А ниче... Сам знаешь — Тува тебе не напарник.

— Сука.

— Я ему передам.

— Это я тебе, Герцеговина.

— Гнида, ублюдок, подонок, — быстро произнес Герц.

— Это ты ща кому?

— Фане, Нафане, Фаненштилю, у которого за спиной никого нет... Короче, разойдемся мирно, Босния. Ты подал, я отбил.

— Типа, бейсбола, что ли? — осклабился Фаненштиль.

— Вроде того, — улыбнулся Герц.

Обычно полосы на одеялах выравнивали по нитке, но Герц, целиком и полностью полагаясь на глаз, привык обходиться без дополнительных орудий труда. В паре с ним стоял гордый азиат с невозмутимым лицом средневекового воина-ко-

чевника — Куулар Серен-Оол. Как большинство представителей национальных меньшинств, тувинец Куулар обладал обостренным чувством собственного достоинства, поэтому командовать им мог только более сильный человек или же просто старший. Герц не относился ни к первому, ни ко второму разряду, но он командовал. Командовал на родном языке тувинца, чего уже было вполне достаточно для того, чтобы добиться расположения степняка.

Герц не считал тувинцев жестокими тупицами, как большинство курсантов батареи, и с самого первого дня службы стал изучать потомков легендарных скифов. Чтобы сойтись с ними, он сначала живо интересовался их обычаями и традициями, а потом стал много рассказывать им о славных подвигах кочевников всех времен и народов. И тувинцы потянулись к Герцу. То, о чем они догадывались на уровне генной памяти, вдруг подтвердилось через исторические экскурсии Александра.

Однако в беседах с тувинцами Герц часто увлекался. Ему так хотелось, чтобы тувинцы быстро его полюбили, что в рассказах он часто пересаливал правду. Последствия не заставили себя долго ждать. Однажды в наряде по столовой, где за чисткой картофеля Герц и предпочитал разговаривать с тувинцами, прозвучала реплика Куулара:

— Мы великий народ. Сам всегда говоришь. Значит, мы хорошо резали русаков и гнали их с нашей земли десять лет назад.

— Тогда давай и меня, — ответил Герц, и в его голосе было не меньше резких гортанных звуков, чем у тувинца. — Прямо сейчас. Нож у тебя под рукой.

— Других, я сказал.

— Меня режь, иначе я напомню, как вы гасились¹ от ОМОНа десять лет назад.

— Тише будь.

— Гасились, как крысы, — понял?! Именем Шойгу говорю вам — как последние крысы! Какая-то несчастная рота ОМОНа на место вас поставила! Всю вашу республику одной ротой!.. Не вышло из Тувы второго Кавказа. Даже мне стремно.

Тувинцы вскочили со своих мест и двинулись к Герцу.

— Сидеть, — спокойно произнес Куулар своим и обратился к Герцу: — Это вы бежали из Тувы, как крысы. Много бежали. Толпа. Тысячи. Вы трусы, а мы воины.

— Вы не воины. Убийцы вы!

— Замолкни, Герц.

— Че Герц?! Ну че Герц?! Я ваш язык учу. Я ваше горловое пение люблю, ваши песни... А сейчас я буду петь нашего «Ворона», и никто мне не запретит. Или режь, как вы там у себя овец режете!

— Зарежу ведь. Обида. Не начинай.

— Я еще не начинал.

Полети в мою сторонку,
Скажи маменьке моей,
Ты скажи моей любезной,
Что за Родину я пал.

— Падать не надо. Слова дай... А про Шойгу — да. Почти боишься еще помирать. Не совсем готов к смерти, понятно мне. Потому что сказал про него. Без обид.

С того памятного наряда отношения между Герцем и тувинцами изменились. Как и раньше, Александр продолжал восхищаться простотой степняков, их доверчивостью, открытостью, смелостью и верностью, но уже тайно. Он перестал кидать им леща, боясь выхода на свободу нацистского зверя, который был безобразен и дик в них, симпатичен и цивилизован в нем самом. Герц и тувинцы как бы признали, что в них живет чудовище, которое в силу многих причин пока нельзя уничтожить, но можно и нужно держать на цепи. Более того, этот враг неожиданно стал их общим союзником, как он может стать союзником для любого нормального человека. Это случилось как-то само по себе. Постоянное присутствие дьявола расовой нетерпимости при пересечениях по службе заставляло обе стороны встряхиваться и перенастраиваться на ярко выраженный осторожный, теплый и бережный тон. И здесь не было ничего искусственного, а только естественное желание объединения против могущественного неприятеля. Такие взаимоотношения были первым этапом в зарождении крепкого союза между большим и малым народами. Герц и тувинцы продолжали с радостью общаться, но в разговорах между собой они прекратили говорить первое, что приходило им в голову, как это делают близкие друзья. Не друзьями, а дорогими гостями в душах друг у друга стали солдаты. Уважение и радушие, которые парни неизменно выказывали друг другу на службе, в конечном итоге должны были сломать стену между ними и после более подробного обоюдного изучения привести как минимум к крепкому товариществу.

— Я ничего не знаю, — ужасался сам себе Герц. — Как же так, что я многое знаю, о многом имею общее представление, а о тувинцах, рядом с которыми, может быть, завтра придется сра-

¹Прятаться, пережидать (арм. сленг).

жаться на поле боя, не могу сказать ничего, кроме того, что они кочуют в степи, пасут скот и любуют мясом? Чему нас учат в университетах? Чему?! Завтра Куулар вынесет меня из-под огня, поделится последней коркой хлеба, как сейчас последней конфетой, и люди попросят меня: «Расскажи нам о Кууларе».

Ну что я им расскажу? Что Куулар — это славный тувинец, который любит мясо? Да вот, в принципе, и все. А потом мне станет стыдно, и я начну лихорадочно уточнять: «Говядину любит, баранину, конину, верблюжатину вот еще». «Какое еще мясо? — спросят люди. — В какой среде воспитывался человек, который вынес тебя из-под огня? Как на тувинском будет "любовь", "счастье", "седло", "звездное небо", "копыто", "самоотречение"? О чем он думал, когда сидел на коне в степи и наблюдал за своими стадами? Как звали его родителей, братишек, сестреноч, собаку, друзей?» Что тут ответишь? Он плохо знал русский, но не умел говорить о своем прошлом даже на тувинском.

Кто же мог предположить, что человек, проносивший «доброе утро, Герц», «на мою иголку, подшейся», «есть курить?», «а в Туве сейчас праздник», вынесет меня с поля боя с тем же бесстрастным лицом, с каким во время обеда говорил: «Мяса бы сейчас»? Еще не вынес, а я уже уверен на сто процентов, что вынесет... вынесет даже такого невыносимого человека, как я. Это недопустимо, что мы проходим в школе математику, штудируем в университетах римское право, но нигде и никогда не касаемся тувинцев, с которыми завтра пойдем на смерть. Не с косинусами же пойдем! Не с валовым же внутренним продуктом!

Батарей ненавидит тувинцев, считает, что они в любую секунду могут убить, а это не так. Будь с Доржу или Кужугетом простым, прямым, честным — и ты заслужишь их уважение. Не знаешь особенностей какого-нибудь народа — вооружись этими качествами, и будешь жить спокойно. Не владеешь языком, на котором говорит человек рядом с тобой, — молча поступай с ним так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой. Так заповедано. Нет ничего проще и одновременно нет ничего сложнее, чем вернуться к этим универсальным реликвиям человеческих взаимоотношений.

Боже, как сложно нащупать то, что называется тувинским менталитетом. Спрашиваю у Куулара: «Как вы относитесь к женщинам?» Он отвечает: «Как понять?» Я: «Вообще к женщинам». Он: «Нормально». Что тут выяснишь? Что

поймешь? А ведь у него в голове «Война и мир» об отношениях полов, которые еще и не так-то просто озвучить, ведь там тонкость на тонкости сидит и тонкостью погоняет. Тувинцы — степные ветры, которые нельзя увидеть, а можно только научиться чувствовать кожей их температуру, силу и направление.

— Правее, Серен-Оол, — произнес Герц на тувинском языке.

«Хорошо уже говорит», — подумал Куулар, но на русском языке, однако, спросил:

— Как это называется, когда еще плохо на нашем говоришь?

— Акцент.

— Вот ты пока с акцент говоришь, постарайся без акцент.

— Постараюсь.

— Почему на своем отвечаешь? Я же тебе по-русски говорю, а ты должен отвечать по-тувински.

— Я не знаю слово «постараюсь».

— Я твое слово «постараюсь» знаю, а ты мое слово «постараюсь» не знаешь.

— Я ведь только учусь, Серен-Оол.

— Плохо пока учишься. Как в Туве говорить будешь?

— Так я к вам пока не собирался вроде.

— Как?! — удивился Куулар. — Я же тебя пригласил.

— Когда это?! — поразился Герц. — Я что-то не припомню.

— Сейчас. А ты опять не понял.

— Спасибо, — произнес Герц на тувинском и снова перешел на русский: — Я постараюсь.

— Пожалуйста, — ответил Куулар на русском и продолжил на тувинском: — Постарайся, постарайся.

— Что ты сейчас сказал? — спросил Герц.

— Подумай.

— Приезжай, приезжай?

— Нет.

— Давай, давай?

— Нет.

— Друг, друг?

— Правильно, Герц, только я сказал: «Постарайся, постарайся».

Несмотря на то, что Герц обещал быть старательным в изучении языка, он не только не работал над произношением, но и намеренно коверкал слова. Тут была военная хитрость. Александр как бы давал понять Серен-Оолу следующее: я команду тобой на выравнивании полос, а ты рулишь мной в освоении тувинского; мы равны и главного, как видишь, среди нас нет.

Когда полосы на одеялах и душки коек превратились из зигзагов в прямые линии, Герц поздравил Куулара и попросил его навести критику.

— На предпоследней и последней кровати пошло косо, — изрек Серен-Оол. — Ладно, сойдет. Поворот плавный, почти хорошо.

— Да, с пивом потянет, — согласился Александр. — Отклонение станет заметным за территорией части, где за плохое качество уже не получают по роже.

Герц подошел к тумбочке. Открыв верхний ящик, он вспомнил о друге Павлушкине, которого отправили на уборку снега.

А как не вспомнить, когда твой отдел отражается в отделе товарища, как в зеркале?! Армия тем и хороша, что она быстро делает незнакомых людей любящими или нелюбящими друг друга братьями помимо воли каждого отдельного человека. Казалось бы, какая глупость, что туалетные принадлежности Павлушкина и Герца лежали в одинаковом порядке и копировали друг друга до мелочей? Между тем в четком представлении о том, где, как, когда и в каком количестве должна храниться и использоваться каждая армейская вещь, сокрыта такая глубина, что, погрузившись в нее, автор боится, что может не всплыть.

В сложной системе армейских координат солдатам требовался прочный фундамент, который позволял бы им начинать день не с нуля, а хотя бы с нуля целой одной десятой. Курсанты иной раз такое переносили на службе, что им мнилось, что весь мир против них. Однако как бы раздавлен, запуган и измотан ни был, например, Герц, он твердо знал, что у него есть незыблемая основа, на которой все можно построить заново. Это приносило относительное спокойствие.

Что бы ни случилось, Александр не сомневался, что... Что при пробуждении первым увидит Илью. Что зубные щетки в их отделах лежат не только в строго определенном месте, но и обязательно ворсом к небу. Что на построении Павлушкин будет стоять слева и так далее.

— Чтобы завтра в окопах действовать слаженно и быстро, мы должны научиться думать ни о чем другом, как об одном и том же, — размышлял Герц. — Жесткий распорядок дня, армейские нормы и правила, от которых мы не можем отклониться ни вправо, ни влево, с первых дней службы направили наши мысли в одном направлении. Система научила нас думать об одних и тех же вещах, пусть даже ненужных и глупых, но об одних и тех же, чтобы не произошло выпадения из обоймы. И это правильно при всех издержках казенщины, рутины, однообразия и несвободы.

Нас временно учат выживать и убивать, а не жить и созидать. Теперь я с львиной долей уверенности могу сказать, что в предполагаемом бою Павлушкин поведет себя так, а не иначе, потому что он приучен укладывать мыльно-рыльные принадлежности только так, а не иначе. Как и я. Как и все мы.

Наведение порядка в расположении продолжалось. Герц взял два деревянных табурета и занялся построением прямых углов на боковых сторонах матраца. Операция по ликвидации покостей называлась отбивкой. Александр не дружил с геометрией, он имел с ней товарищеские отношения на рыхлую четверочку.

Учительнице по математике, которая сумела вдолбить Герцу, что прямые углы пригодятся в жизни, наверное, было бы приятно узнать, что благодаря ее радению сержантские кулаки в армии чешут Александру бока не каждый день, а по графику сутки через трое.

Подперев сидущкой одного табурета бок матраца с такой же силой, с какой оглоблями и бревнами защитники древних городов подпирали крепостные стены, Герц поставил второй табурет вверх ногами на середину матраца и медленно повел его к краю койки.

В это время до слуха Александра донеслись аплодисменты, которые парень с первых дней в армии окрестил рукоплесканиями солдат Урфина Джюса. Хлопки, раздавшиеся в казарме после столкновения полированных табуретов друг с другом под прямыми углами, возвестили сержантскому составу артиллерийской батареи, что матрацы с натянутыми на них одеялами начали принимать строгую форму сигаретных пачек. Заправка коек под аплодисменты вошла в стадию завершения.

Герц с подъема хотел пить. Эта была не та приятная жажда, которую гражданский человек иногда не прочь разжечь, чтобы подойти к водопроводному крану в момент пиковой сухости во рту и с двойным наслаждением влить в себя жидкость. Зная, что вода никуда не денется, многие люди, открыв кран с голубым кружочком на барашке, с мазохистским терпением даже дают воде пробежаться, дабы она из холодной превратилась в ледяную. Жажда солдата Герца не имела ничего общего с жаждой гражданского человека, так как ее нельзя было утолить легко и просто. Передраги, в которые батарея попадала с самого подъема, не давали Александру заикнуться на том, что он хочет пить. Утренние проблемы задвинули жажду на второй план, и она не причиняла страданий.

Но чем больше внешняя жизнь курсанта обрела спокойные очертания, тем больше внимания к себе начинал требовать его внутренний мир. Но

не тот внутренний мир, который зовут духовным, а мир организменных внутренностей, алчно жаждущий не правды, а воды.

«Не ненавижу, — мысленно стал роптать Герц. — Пить! Во рту — Гоби. Черт! — Александр с трудом собрал слюну, проглотил ее, но, как ему показалось, она плюхнулась в желудок, даже не коснувшись стенок горла. — Боже, что делать? Ведь не отпустят же, гниды... Надо забыть о жажде. Как только? Как?.. Чертов Колпак! Зачем я твой чеснок из посылки ел?! Ненавижу тебя с твоим чесноком. Гад ты. Га-а-ад... Какая я все-таки тварь! За добро ненавижу. Повелся на чеснок. Да не на чеснок же! На хлеб вприкуску к чесноку повелся. Ненавижу, всех ненавижу». Герцу стало жаль себя, и это сразу отразилось на его лице.

Уголки рта Александра провисли, как линии электропередач после обильного снегопада, его ноздри стали сужаться к носовой перегородке, а в глазах начала набухать влага, явно доказывавшая, что в организме солдата не такая уж и Сахара, что есть еще внутри оазисы и до полного засыхания пока так же далеко, как до дембеля.

Для бойца российской армии это было непростительное выражение лица. Фаненштиль, находившийся рядом с Герцем, засек слабость товарища и не преминул ядовито заметить:

— Склеился, что ли? Громче реви, чтоб все слышали. Наша Таня громко плачет.

— Зашейся, — исподлобья посмотрев на Фаненштиля, бросил Герц.

— Тебе не в батарее, тебе в понтонной роте служить. Одни понты.

От такого заявления лицо Герца покорежило от злобы, словно оно попало в серьезную авткатастрофу, как автомобиль. Снопы сварочных искр, которые редко могут поджечь окружающие предметы, но почти всегда заставляют отворачиваться стоящих поблизости людей, посыпались из его глаз. Фаненштиль отвел взгляд, усмехнулся и, насвистывая, направился в конец отделения.

После того как Герц убедился в том, что на него никто не смотрит и все заняты своими делами, он осмотрелся. Кругом была вода, и Герц до крови закусил нижнюю губу, чтобы влага выступила где надо, а не на глазах, как недавно. Солдаты-уборщики, вооруженные швабрами, возили воду по полу; кое-кто из них уже по-пластунски ползал под койками на скорость за некачественное мытье. Герц зло порадовался про себя: «Это вам за меня. Шесть полных ведер в казарме, а у меня — ведро в горле».

Поймав себя на том, что за такие мысли по отношению к товарищам он является сволочью, Герц поспешил реабилитироваться в собственных глазах: «Честно же признался. Сам себе. Пока я только корень квадратный из гада. Гаденыш, в общем».

Чтобы вновь из гаденыша не превратиться в гада, Александр даже запретил себе мысленно просить прощения у товарищей. «Искусственно выйдет, — решил он. — Уж лучше вообще не извиняться и гаденышем остаться, чем без искренности».

Герц обратил внимание на Семенова, который рядом поливал цветы на подоконнике. Александр подавил зависть к пившим растениям, но на этом обессилел в работе над собой и не смог заглушить ненависть к товарищу.

— Ты как, блин, льешь?! — угрожающим шепотом ударил Герц в спину Семенову. — Че, тебе воды жалко? Лишний раз в умывальник в облом сбегать? Надо больше лить, понял?! По всей площади лить, чтобы каждому корню досталось!

— Сань, ты че? — обернувшись, испуганно произнес Семенов. — Я и так вон сколько лью.

— Ты не льешь. Ты заливаешь мне, что ты льешь.

— Через край уже бежит, Сань.

— Краснодарский?!

— Сань, если хочешь, я на полотенца пойду. Только успокойся.

Удача сама шла в руки Герца, но он не пожелал воспользоваться моментом, чтобы потом иметь возможность напиться исподтишка; это было бы слишком просто для его сложносочиненной души.

— Как у тебя все просто, — облизнув пересохшие губы, сказал Герц. — На, Саня, поливай, да? А то я сам не знаю, что надо тупо отнять у тебя лейку и заняться запущенной оранжереей. Ты вообще хоть раз опрыскивал листочки? Они же посмотри какие вялые, на концах сухие и ломкие, как волосы рекламные... Какие к черту приспособления?! — выкрутил Герц руль мысли до предела, как будто Семенов действительно что-то сказал о приспособлениях. — Просто набираешь в рот воды и распыляешь. Дай сюда лейку, последний раз показываю.

Читатель, склоним головы перед мужеством странного солдата. Набрав полный рот воды из лейки, измученный жаждой Герц не проглотил ни одной капли, даже не прополоскал ротовую полость. Он сразу выплеснул воду на комнатное растение. Жидкость вышла изо рта почти в виде пара, вероятно, из-за мартеновской температуры в атмосфере организма.

«Что за жизнь скотская? — подумал Герц, отойдя от Семенова. — Ни за что ни про что на человека напал, а прощения опять не попрошу ради него же самого. Нельзя ведь. Даже совесть сейчас говорит: “Не делай это ради Семенова”. Ведь как слабость мой порыв расценит, почувствует себя сильным, возвысится и начнет меня же клевать, других клевать. Это как пить дать... Пи-и-ить... Сдохнуть, что ли? Если сдохну, это будет правильно, потому что впереди — тысячи проступков, которые я уже не совершу. Мир только лучше станет. Эпитафия на могиле: “Он мог бы еще миллион раз солгать, подставить, обокрасть, разложить, предать... Помочь, спасти, поддержать, уберечь... Как ни крути, в могиле покоится поддонок”».

Выругавшись про себя на себя, Герц твердо направился к командиру отделения нарваться на ранение. Ему кровь из носа нужна была кровь из носа. Рядовой вырос перед сержантом солдатом штрафного батальона времен Великой Отечественной войны, которому нечего терять. «Ударишь — будет кровь, — подумал Герц. — Будет кровь — отправишь в умывальник. А там воды навалом».

Кузельцов возлежал на койке пресыщенным римским патрицием, когда в его личное пространство вторгся Герц.

— Че хотел? — лениво спросил сержант.

— Сознаться в косяке!¹ — бодро ответил Герц.

— Ну и...

— Бирки к противогазам на соплях прилепил. В одну нитку шил, не сегодня-завтра отвалятся.

— Не понял.

— Лень было, товарищ сержант.

— Ты охренел, что ли, обезьяна?!

— Никак нет.

— А как тебя тогда понимать?

— Не могу знать.

— Ну тогда сгорел отсюда. После отбоя говтовья.

— А сейчас никак? — с заискиванием в голосе произнес Герц, и подобострастная улыбка в обход воли появилась на его лице.

— Ты че — мазохист?

— Ну пожалуйста, — взмолился Герц.

— Че тебе от меня надо, полудурок?!

— Ну пожалуйста, товарищ сержант, ну пожалуйста, — заклинило вконец расклеившегося Герц, он чуть не плакал.

Кузельцов, считавший Герца нормальным пациентом, поморщился. Сержант по-своему уважал

рядового, как когда-то патриции Красс уважал раба Спартака. Кузельцова несколько не напрягало искреннее холуйство других духов, и он с приветливой, чуть снисходительной улыбкой принимал такое угодливое отношение к себе с их стороны.

Другое дело — Герц, который только на первый взгляд не отличался от солдат своего призыва. Не выделялся Александр среди товарищей по батарее на второй и даже на пристальный третий взгляд. Только при четвертом рассмотрении рядового Герца становилось понятно, что он за фрукт. Даже не ананасом отдавало поведение Александра, а прямо грейпфрутом. Например, Герц всегда точно и в срок выполнял приказы командиров и начальников, но делал это с таким видом, как будто в банно-прачечный комбинат за свежим бельем или в столовую за хлебом его отправляли не сержанты или офицеры, а он сам, в крайнем случае — Верховный главнокомандующий. При всем этом в момент получения и выполнения приказов в нем не просматривалось и тени заносчивости. Когда ему говорили что-нибудь сделать, его лицо — как у старого евнуха в гареме — сразу становилось равнодушным, строгим и внимательным одновременно. Сержанты часто приходили во внутреннее бешенство от поведения Герца, потому что даже во время выполнения их личных просьб парень действовал так, что в батарее всем без исключения казалось, что он угрождает не отдельному человеку, а ни дать ни взять — Вооруженным силам Российской Федерации (именно так, в четыре слова). Беситься — бесились, но придирались редко, потому что внешне все было чисто.

— Сопли утри, — тихо произнес Кузельцов, поднялся с кровати и встал так, чтобы Герца не было видно. — Не догоняю² я тебя. Опущу — будешь знать. Странностью своей на гражданке щеголяйте, а тут не фиг. — Кузельцов сделал едва заметное движение головой в сторону других духов. — Эти все видели. Ты лицо потерял. Че теперь с тобой делать?

— Потеря лица в прямом смысле, — прошептал Герц. — Вы меня — на очки, а я не пойду.

— Как вы меня все достали.

— Товарищ сержант.

— Нигде, блин, покоя нет.

— Ну товарищ сержант.

— Ладно. Но еще раз учудишь — молись.

— Спасибо.

— Сгорел на очки, обезьяна! — громко произнес Кузельцов, чтобы все слышали. — Мухой!

¹Проступок (сленг).

²Не понимать (сленг).

— На очки не пойду, — решительно ответил Герц.

— Маму в последнем письме приготовил, что прилетишь к ней «двухсотым» в голубом вертолете и бесплатно тебя похоронят?

— Никак нет!

— Ничего. Про «бесплатно» Павлушкин, твой зема, черканет.

Солдаты перешли от слов к делу. Кузельцов начал качественно трудиться над восстановлением достоинства Герца. Курсант должен был не орать от боли, подниматься после ударов, не просить пощады. На самом деле не так уж и много, если не хочешь прослыть чмо. Работал сержант исключительно нижними частями ладоней, чтобы рядового, погибшего при исполнении, при встрече узнала родная мать. Потому что мать — это святое.

Как только хлебнет дух воинского лиха, так сразу без всякого согласия Русской православной церкви причислит мать к лику святых. Однако пройдет годик-полтора, и оперится боец. Все реже станет вспоминать он женщину, которая произвела его на свет, все чаще станут слетать с его уст твои матери, матери твои и матери твои так.

Но мы отвлеклись. Сержант избивал рядового. Оба были довольны друг другом. Шло очищение через кровь...

— Кровь должна быть только на мне, — переживал за чистоту казармы отупевший от боли Герц и перехватывал алые капли руками, ногами, всем корпусом.

Кампания по перехвату крови с какого-то момента пошла неудачно, и Герц плюнул на это дело. По причине легкого сотрясения мозга плевок получился не мысленным, как бы хотелось, а натуральным и таким смачным, что автор вынужден переименовать его в харчок. Слюна, насыщенная красным цветом, плюхнулась на белую подушку Кузельцова и образовала пятно, которое начало быстро расплываться во все стороны, как улыбка наивчастливейшего человека. Казалось бы, от такой наглости подчиненного кровь командира первого отделения должна была неминуемо свернуться. Однако сержант не вышел из себя. Кузельцов остался хладнокровным, как рептилия, так как по опыту знал, что в спокойном состоянии духа удары всегда выходят гораздо сильнее и точнее.

Герц падал и вставал, опять падал и снова вставал. Это чередование длилось так долго, что Александру показалось, что теперь вся его жизнь состоит только из этих подъемов и падений. Он даже умудрился полюбить падения, потому что

здесь ему помогал со стороны и не надо было утруждаться самому.

— ПТУР-взвод — умыться! — донеслось до слуха Герца, как ему показалось, из тысячелетнего и тысячекилометрового далека.

Автоматные затворы не передергиваются с такой скоростью, с какой стали открываться и закрываться отделы в тумбочках, где хранились туалетные принадлежности. Движение на себя, молниеносное вынимание мыла, щетки, пасты и толчок от себя.

Началось соревнование по армейскому двобою: сначала — бег с препятствиями до умывальника, потом — бой без правил за право обладания раковинами. Олимпийским принципом fair play в батарее и не пахло. Пинкам, толчкам, подножкам, зуботычинам и ругательствам, запрещенным курсантам в другое время, включился зеленый свет.

Потасовки за место под краном всегда поощрялись сержантами. Подбитая боевая единица по фамилии Герц, пересекавшая сейчас казарму в гордом одиночестве, давно поняла, отчего все это. Впереди Александра десять курсантов не справились с поворотом на умывальник из-за напиравших сзади товарищей, размазались по решетке оружейной комнаты, стекли на пол и образовали курган. Герц медленно провел тыльной стороной ладони перед лицом. Кровавая пелена, застилавшая ему глаза, спала. На кургане из битых черепов стоял великий завоеватель.

— Разделяй и властвуй, — с македонским акцентом произнес узурпатор на латинском языке, а потом, как и подобает всякой выдающейся личности, с величественной медлительностью, словно советский пломбир при комнатной температуре, растаял воздухе.

«Самое удивительное, — всегда думал Герц, — что сержанты не имеют ни малейшего представления о принципе “разделяй и властвуй”, но пользуются им постоянно, стравливают нас между собой. Так люди не знают, кем и когда был изобретен телефон, зато все в курсе, как по нему надо звонить».

ГЛАВА 6

Десять курсантов с лопатами, ломами, скребками и метлами по приказу младшего сержанта Птицы построились на улице в колонну по двое. Крепкий сибирский мороз, ударивший ночью, разрядил воздух, и мириады ярких, словно вымытых с порошком звезд сияли на иссиня-черном



небе. Глянцевая луна, точно пресыщенная ночной жизнью светская львица, лениво наблюдала за тем, как сорит жемчугом баснословно богатый космос, который в пьяном олигархическом припадке устроил звездопад, чтобы оживить вселенскую тусовку, под утро сонную и равнодушную ко всему.

— Нехилый мороз, — шмыгнув носом по-никулински, весело изрек замыкавший колонну Павлушкин. — Живем, пацаны.

— Тишину поймали, — беззлобно, только для проформы произнес Птица и вяло бросил: — Шагом марш.

Десять курсантов, отправленных на уборку территории от снега, и без Павлушкина знали, что сегодня звезды не рассыпаны по небу в беспорядке по команде «разойдись!», а удачно сошлись над их головами еще до подъема в каком-нибудь Сатурне и составили им благоприятный гороскоп на утро. Ворошиловский стрелец сигарет по прозвищу Павлуха просто решил пальнуть своей радостью в воздух, чтобы дать понять львам, козерогам, скорпионам, словом, каждой твари, шагавшей, как ни странно, по паре, как того и требует колонна «по двое», что денек начался

хорошо. Курсанты предвкушали впереди веселую работу под присмотром всего лишь одного сержанта и, чем черт не шутит, возможность покурить. Духи весело переглядывались и подмигивали друг другу. На собачий холод, отменивший зарядку в бригаде, никто из уборщиков не обращал никакого внимания. Мороз кусать-то кусал, но почему-то одного сержанта, покинувшего теплую казарму через силу. Курсантов же мороз не кусал и даже не пощипывал, а дружески трепал их по щекам, как добрый дядька любимых племянников, и терпимо хватал за нос, как друг-ловкач, перехитривший друзей-ротозеев. Бодро шагала колонна, четко печатала шаг.

— Уломай¹ сержика на перекур, — тихо обратился к Павлушкину добродушный несклепистый Бабанов.

— Так иди и уломай, — буркнул Павлушкин. — Че все время я да я?

— У тебя срастется².

— А сам че?

— У тебя лучше получится.

¹ Уговорить (сленг).

² Выйти, получиться (сленг).

— Не факт.

— Да ладно, не прибедряйся. Че, мы тебя не знаем? Выручай, Павлуха, слышь? У всех уши в трубочку свернулись. Позобать бы децл¹.

— Бамбуком-то² хоть затарились³? А то у меня голяк⁴.

— Не первый день замужем.

— Не знаю... Попробую.

Курево было мощным рычагом воздействия. Сигарет вечно не хватало, их часто недодавали и редко позволяли курить. Для многих солдат запрет на курение был страшнее лишения пищи или сна. Фраза сержанта «из-за падения дисциплины батарея переходит на здоровый образ жизни» звучала как «именем Российской Федерации рядовой Иванов, рядовой Петров, рядовой Сидоров и т. д. по списку курильщиков приговариваются к расстрелу». Никотиновый крючок делал солдат податливее пластилина. Солдатам второго мотострелкового батальона не давали ни бросить курить, ни накуриться вдоволь; так младший командный состав повышал управляемость подчиненными.

С виду батальон казался обыкновенным, но на самом деле подразделение потенциально являлось и рассадником подонков, и пантеоном героев одновременно; все как бы зависело от той задачи, которые поставят сержанты за разрешение на перекур. Читателю может показаться, что автор преувеличивает. Однако если рассказать о том, к каким ухищрениям прибегали духи, чтобы покурить без разрешения, то читатель, возможно, изменит мнение.

Решившие поднять духи выставляли «охранение» по всей казарме и направлялись в курилку. «Часовые» договаривались между собой о системе условных знаков вроде почесывания в затылке, снятия нитки с плеча, хватания за бляху ремня, снятия сапога для перемотки портянки и спялись на отведенных им участках, наблюдая за перемещением сержантов. Как только «лычки» выдвигались в опасную зону, духи из «охранения» по эстафете передавали сигнал об опасности в курилку. На этом игра не заканчивалась, потому что, помимо «охранения», выставлялись еще и так называемые застрельщики из наиболее умных и ловких курсантов, которые шли наперерез сержанту и останавливали его просьбой или вопросом; так

выигрывались десятки секунд или даже минуты. Курильщики, предупрежденные об опасности, даром времени не теряли, они дымили в форточку так, что впалостью щек после затяжек напоминали узников Бухенвальда.

Свежевыпавший снег посверкивал, как будто даже подмигивал фейерверкерам, и они, обычно серьезные и сосредоточенные на своих проблемах, заулыбались. А Павлушкин и еще парочка человек прямо стали смеяться. Но не на лицах у артиллеристов показались смех и улыбки, а в руках и ногах за работой. Труд в армии даже для тунеядцев стал отдушиной, почти счастьем, потому что за делом духов не принято было трогать, и они могли на время забыться. Плюс ко всему с рабочими командами, как правило, посылался один сержант, а это почти свобода, если, например, этот сержант — Павел Птица.

Птица был добродушным слоном. Духи любили его, потому что он редко использовал их для личных нужд. Из-за такой нормальной для гражданки и ненормальной для армии человеческой позиции этому сержанту курсанты стремились угодить добровольно. У Птицы слегка косил правый глаз, поэтому он казался всем несколько рассеянным и погруженным в свои мысли. Сержант часто говорил, что ему плевать на курсантов, но все чувствовали, что он врал. Птица любил людей, но считал нужным это скрывать, потому как полагал, что за это его будут больше уважать. Сержант не ошибся. Проницательные духи уважали его и за то, что он всех и вся любит, и еще больше за то, что он тщательно прячет это. Сержант не считал нужным показывать свои чувства только по отношению к тувинцам, с ними он вошкался, как отец с детьми.

Птица был несчастным сейчас. Праздник труда разворачивался перед его глазами, а он был вынужден оставаться сторонним наблюдателем. Ему хотелось влиться в рабочий пир и разгуляться во всю силу молодости. Его чувство было сродни тому ощущению, которое испытывает человек, проходя мимо дома, где идет веселая пирушка. Птица завидовал подчиненным, но вынужден был оставаться в бездействии, потому что субординация — превыше всего. Ему было холодно, но он не мог позволить себе даже попрыгать на месте, потому что разгоряченные духи, иным из которых уже хотелось скинуть бушлаты, могли расценить это как слабость.

Павлушкин захмелел от работы, как будто и впрямь гулял с друзьями за праздничным столом. Дело спорилось, и он даже не зыркал по сторонам для того, чтобы убедиться в том, что

¹ Немного (сленг).

² «Прима» (арм. сленг).

³ Запастись (сленг).

⁴ Пусто (сленг).

никто из ребят не отлынивает. Так наш человек не сомневается, что его товарищи по выпивке безо всякого присмотра будут трудиться над опорожнением бутылки изо всех сил, отмеренных им Богом.

Павлушкин быстро пришел в ту стадию опьянения от труда, когда напарники становятся родными братьями, которых любишь всем сердцем, на которых от избытка энергии иногда даже с притворным недовольством покрикиваешь. В какой-то момент Илья действительно принялся отпускать делано строгие реплики в адрес товарищей, а они... Они стали смотреть на него как на человека, который сердится, когда кто-то пропускает стопку или не выпивает ее до дна.

Весна на территории, закрепленной за фейерверкерами. Курсанты, зеленая форма которых по расцветке напоминала березки и дубки в середине мая, выметали зиму метлами, выскребали ее лопатами, выдалбливали ее ломачами. На голове у артиллеристов — синие шапки со звездами во лбу. Ни дать ни взять — весенние деревца под куполами небес с негасимыми светилami в пушистой синеве!

Задача, которую взял на себя Павлушкин, была простая, но важная. Он придавал прямоугольную форму снежным массам, которые его напарники валили за бордюры дороги. Несмотря на увлечение работой, Павлушкин ни на секунду не забывал об обещанном товарищам перекуре. За короткими фразами, которыми перебрасывались курсанты, Илья безошибочно слышал: «Ну когда уже? Когда?»

И вдруг Павлушкин понял, что время для просьбы о перекуре упущено. Он осознал это каким-то инстинктом, когда Птица закричал властно-заискивающим голосом:

— Молодцом! Чем быстрее кончите, тем быстрее пойдем в распорягу¹! Дам вам даже умыться!

От этого «дам вам даже умыться» у Павлушкина все опустилось внутри. Несмотря на то, что между умыванием и перекуром, казалось бы, не было никакой связи, курсант сделал точный вывод: «В казарму рвется. Ни секунды лишней на улице не простоит, как закончим».

Чтобы переломить ситуацию, Павлушкин начал выделять мертвые петли:

— Веселей, пацаны! Как каракатицы, блин! Ты вообще как черепаха, Рыжий! Ты меня, в натуре, накаляешь!

— Старануться! — откликнулся Павел Самойленко, веснушчатый курсант с васильковыми глазами. — Накалять старануться!

— Ну-ну, за базаром следи, бродяга!

— Свой фильтруй сначала! — весело огрызнулся Самойленко. — Сугробы вон косорылые у тебя!

— Моим сугробам геометрия обзавидовалась! — продолжал Павлушкин затейливую и длинную игру, эпилогом которой должен был стать перекур. — Мои сугробы на ярмарках выставлять можно! Кто-нибудь спросит: «Интересно, чья работа? Надо же, какой прямоугольный прямоугольник. Не квадрат и не круг, а то, что надо. Угол — девяносто градусов, ровно два пузыря водки по сорок пять». А я тут как тут: «Начало двадцать первого века, работа неизвестного мастера Павлушкина, ученика Птицы». — После этих слов с Павлушкина можно было смело рисовать серьезность и озабоченность делом. — Недоделки учту, Рыжий! Но и ты булками шевели!

От веселой перебранки духов воздух вокруг сержанта Птицы, стоявшего по американской стойке вольно, начал согреваться.

Павлушкин не унимался:

— Мультик!

Курсант, разом похожий на всех печальных мультипликационных персонажей, подгреб к Павлушкину.

— Мультиха, ты же у нас в чипке² Отечеству служишь? — Все курсанты засмеялись, но не очень громко, как бы с почтением к присутствовавшему рядом сержанту. — Сигареты зашарил³!

— Но.

— Марка?

— «Тройка».

— Не бзди⁴.

— В натуре говорю.

— Слыхали, пацаны?! Служит в чипке, поддает за шакалами⁵ булочки с маком, а зашарил вонючую «Тройку». Ту же «Приму», только с фильтром. Хоть бы уж две «Тройки» зашарил. Взял бы хоть количеством — я не знаю... Раньше я хотел попросить у товарища сержанта перекур, а теперь не буду!

— Это почему? — не выдержал Птица.

— В знак протеста! — отвечивал Павлушкин и поблагодарил судьбу за то, что вопрос, которого он ждал, задан. — В знак протеста против

²Магазин в воинской части (арм. сленг).

³Украсть, достать (арм. сленг).

⁴Врать (сленг).

⁵Офицер (арм. сленг).

¹Расположение (арм. сленг).

бесполозности Мультика, товарищ сержант! Сегодня он зашарил одну «Тройку», а завтра вообще ничего не зашарит! Завтра мы не покурим, даже если захотим! Даже если вы разрешите! При всем вашем и нашем желании не покурим! Никогда! Вы слышите, пацаны?! Никогда!!!

В каком-то беспомощном и страшном иступлении выкрикнул Павлушкин последнее «Никогда!» и сам себе поверил. И все вдруг поверили, что никогда, никогда они больше не покурят, хотя у некоторых в карманах лежали сигареты и посерьезней «Тройки», а «Прима» была так почти у всех.

Если что, у самого Павлушкина под бушлатом грелся сейчас непочатый «Петр I», о котором в начале своей игры курсант запомнил самым искренним образом. Что там — Илья даже как будто и хотел помнить о черной пачке во внутреннем кармане кителя, очень хотел, но вот как-то начисто забыл о ней, как забывает о Петре I нерадивый студент истфака на экзамене. Тут надо даже усугубить, читатель. Павлушкин забыл о своей пачке, как тот студент истфака, который в случае завала экзамена должен угодить... в армию.

Гамлет в портянках явился миру ранним январским утром 2005 года. Гениально играл Павлушкин, но все-таки играл, а потому не забывал о перекуре. А другие курсанты даже как бы и забыли, что их легкие изнемогли от нехватки никотина, так как чувствовали приближение другой, более глобальной катастрофы. А то! Последняя «Тройка» в мире!

Два впечатлительных курсанта дошли в мыслях даже до того, что пачка у Мультика, скорей всего, уже пустая на три четверти. И Мультик даже как будто в этом и не виноват, потому что — судьба, рок, фатум.

Один курсант проявил редкостный фатализм перед концом света:

— А давайте, пацаны, мультяшную «Тройку» скурим?! — отчаянно предложил он. — А, пацаны?! Скурим — и пропадай все пропадом! — И почти не было в его душе желания покурить на халяву.

— А давайте! — рванув верхние пуговицы на бушлате, крикнул уже не Мультик, а какой-то рубаха-парень. — У меня три штучки осталось, на всех раскидаем! В следующий раз не зашарю ведь! Палево!¹

И даже как будто верил Мультик, что в следующий раз украсть у него не получится, хоть это и смерть для всех. Однако этим же вечером у него откуда-то взялись три пачки «Мальборо».

Третий курсант (хотелось бы описать его одежду и прическу, чтобы хоть как-то выделить из остальных, но он был бритый и зеленый, как все) привнес в Апокалипсис на уборке трогательную нотку:

— Мультик просто правильный! Он много не тырит, потому что ему стыдно! Он — человек!

— Не человек я! — в гневе парировал Мультик. — Это тебе стыдно, а мне — нет! Тем более для своих пацанов!

— Не трогать Мультика! — вмешался Павлушкин. — Порешу того, кто скажет, что ему стыдно, что он — человек! Быстрее сдохнем! Повара продукты у нас тащат, он сигареты не тащит — быстрее сдохнем!

— Да вы че, пацаны?! — закричал Мультик. — Теперь сдохну, но зашарю! Чипок грабану²! Я не я, если не грабану!

Скорость уборки не только не пострадала от всей этой трагикомедии, но и натурально увеличилась.

— Да и черт с ним, с куревом! — через некоторое время заявил Павлушкин. — Перебьемся.

Между тем все вдруг поняли, что сегодня точно удастся подымить власть. Это уже даже не обсуждалось. Разрешение на перекур словно вылупилось из воздуха, как цыпленок, и вкусно пожарилось, как цыпленок табака. Запах незажженных еще сигарет уже дразнил, но дразнил приятно, как дразнит детей запах вкусного ужина, который никуда не денется; надо только отца с работы дожидаться. И мама как бы говорит: «Не крутитесь возле меня. Через пять минут придет папа, и сядем за стол».

Птица и ассоциировался у курсантов с тем отцом, который вот-вот должен был подтянуться. Сержант чувствовал, что он попал в какие-то приятные сети.

— Огреть бы тебя лопатой вдоль хребта, Павлуха! — крикнул Птица, и из всех семи ноток, прозвучавших в его голосе, только две (до и фа) были нотками раздражения, остальные — нотками благодушия.

Павлушкин чутко уловил соотношение добра и зла в голосе Птицы и решил, что сейчас самое время малость подлизаться:

— Огрейте, товарищ сержант! От вас и получить не запахло!

— Даже не сомневайся. А сигареты у вас полюбому есть, сказки мне только не рассказывайте.

¹ Опасно (сленг).

² Ограбить, обворовать (сленг).

— В том-то и дело, что нет, так что перебьемся. — Курсанты замерли на своих местах и уставились на Павлушкина. — Че смотрим?! — зло крикнул хитрец. — Работай давай! Не можете, что ли, без никотина?! Все не могут! Че сделаешь, если напряг¹ с куревом?! Скажите спасибо сержанту Птице, что хоть навстречу нам идет! Работой скажите, а не гнилым базаром! — Тут Павлушкин с каким-то остервенением начал выравнивать сугробы, хотя в таком деле всякое рвение прямо противопоказано.

— На нет и суда нет, а то я хотел добро вам дать, — произнес Птица голосом, в котором слышалась наивная лиса.

«Попался, тушканчик», — сказал Павлушкин про себя, и пошло-поехало-понеслось: «Товарищ сержант, "Прима", конечно, у нас есть, но пацаны ее за сигареты не считают! Потому что из-за вони ее запрещено курить!»

— Ну, на улице же курите иногда, — заметил Птица.

— Так иногда, что почти никогда.

— Тебе вообще че надо? — спросил Птица.

— Чтоб всегда на улице можно было, когда захочешь! — зло ответил курсант, потому что почувствовал чутьем профессионального разводчика, что только такой тон сейчас и уместен. — Мы уже до того замордованы, что бамбук в казарме нельзя, что и на улице уже как бы нельзя! Для красоты «Приму» в карманах носим! Че молчишь, Бабанов?!

— Так я это, — стусевался Бабанов. — Бамбук есть, конечно, но это самое...

— Нате вам, товарищ сержант! — сплюнув, перебил товарища Павлушкин и всадил лопату в сугроб. — «Прима» для него — не сигареты! Думаете, из-за того, что он такой крутой и гордый?! Нет, он просто привык, что бамбук нигде нельзя курить! Ну, на улице-то че нельзя? Почему казарменный запрет как-то сам по себе на улицу перекинулся? Да, температурой эти два места похожи, согласен, но ведь больше ничего общего! Как медаль бамбук носим! Для красоты! И даже не на груди, а прячем, как будто мы его не заслужили, как будто его нельзя курить даже на продувном ветру! Че припух, Бабанов?! Не так, что ли?! Твой ровесник, которого папаша от армии отмазал, титьку мамкину наяривает и «Парламент» с «Кентом» цибарит! А ты... ты по нарядам, по караулам мыкаешься, страну сторожишь, а бамбук!.. Зато он честный, бамбук наш! И бамбук — сигареты! И не какие-никакие, а еще какие!

«Вот ведь как извернулся, — подумал Птица. — А ведь прав».

— Бамбук, он мне вообще один в один Шотландию напоминает; есть такой город, в котором мужики носят юбки, как бабы, и на волянках дудят! — понесло Павлушкина за тридевять земель и наверняка унесло бы, но сержант не дал ходу повествованию, в котором — нет сомнений — была бы доказана абсолютная идентичность Шотландии и «Примы».

— Отставить за границу! — произнес Птица и расхохотался. — Покурите потом свой бамбук! Может, и в казарме разок разрешу! Может, и время дам, чтоб удовольствие получили!.. Павлуха, а тебе... всыплю!

Между тем Павлушкин с ужасом и одновременно с каким-то мазохистским удовольствием почувствовал, что теперь ему плевать на перекур и что хочет он сейчас только одного: правды и справедливости.

— А ну доставай бамбук все! — захрипел Павлушкин, и глаза его заворочались в орбитах. — По десятке за пачку даю! Мать кровную сотку выслала с наказом: «Порадуй себя конфектками, сынок!» Прости меня, мама, но не ценят, суки, горб свой! Я оценю! Я им покажу, бамбук — не сигареты! Че медлим?! Мало?! По пятнадцать за пачку! — Увидев смятение на лицах товарищей, Павлушкин подошел к Бабанову, схватил его за грудки и выдохнул: — Че?! Я сказал — любую пачку! По фигу мне, сколько у тебя там штук осталось! Пустую даже гони!

— Отвали, — мягко отстранив руки Павлушкина, твердо произнес Бабанов.

— Да куда ты денешься?! Потому что двадцать даю!

— Якубович, что ли? Отвянь², Илья.

— Боб, ты че? — произнес Павлушкин, и его лицо страдальчески исказилось. — На двадцать десять «Прим» можно купить. Родной, ты че? — Глаза Павлушкина заблестели, его подбородок задрожал часто-часто, как теленок, родившийся в голой степи в крещенский мороз. — Сотку на... Просто так... Думал, куплю... Не купил... Уйди от греха...

Скатов, наглый курсант медвежьего телосложения, угрождавший сильным и унижавший слабых, ехидно улыбнулся и бросил:

— Давай, Павлуха! Кассу — вперед!

Вмешался курсант Леденев, худощавый невысокий парнишка, запомнившийся батарею тем, что однажды ни с того ни с сего взял вино другого на

¹Сложно (сленг).

²Отстань (сленг).

себя. Не отрываясь от работы, он преспокойно за-метил Скатова:

— Возьмешь у Павлухи кассу — здоровье отниму.

— Боюсь, аж в штаны наложил, — ухмыльнувшись, ответил Скатов. — Он сам предложил, его за язык никто не тянул.

— Без тебя вижу, что все по понятиям, но здоровье все равно отниму.

— Отнималка не выросла, прыщ норильский.

Леденев пропустил обидные слова товарища мимо ушей. Бесстрашный и справедливый, он увидел в потенциальной сделке что-то неясное, что-то не то: с одной стороны — несутветную глупость, с другой — запредельную подлость. Леденев не приветствовал ни то ни другое. Если бы в назревавшей сделке все было чисто, то он бы не вмешался и предоставил разрешение ситуации сержанту. Однако ситуация была неоднозначная, и Леденев решил влезть. Он не мог существовать в мути. Ему требовалась прозрачность, которая делала его умиротворенным, созерцательным и пассивным, почти философом. В армии он давал право добру и злу на спокойное существование. Ему надо было только четко знать, что вот это — белое, а вот это — черное; переходный серый цвет, в который вот-вот должна была окраситься сделка, он не выносил на дух.

По мысли Леденева, Павлушкин и Скатов творили на уборке что попало. Его не устраивало поведение обоих товарищей, поэтому он напал на того, кто был к нему ближе, — на Скатова. А могло бы достаться и Павлушкину.

— Че думаешь — воспользоваться Павлухой хочу? — спросил Скатов у Леденева. — Может, я просто его кассу на сохранность хочу взять, пока он не в себе.

— Мне вообще по фигу, для чего ты это делаешь. Я тебе уже все сказал.

— Эй, ты че, думаешь, я тебя боюсь, норникель хренов?

Леденев смерил Скатова арктическим взглядом, брезгливо отвернулся и пошел прочь. У Скатова от страха засосало под ложечкой.

Сержант внимательно наблюдал за всеми и ни во что не вмешивался. Ему было интересно следить за тем, что происходит на уборке.

— Оконешников, слышь, Оконешников, ну-ка подь сюда! — не отводя взгляд от спины отошедшего Леденева, крикнул Скатов. — Бамбук тебе дам! Знаю, у тебя нет!

Страх Скатова перед Леденывым после этого широкого жеста начал таять. И Скатов зарвался.

Ему вдруг захотелось стать безрассудно смелым. Он теперь знал, как сделать это. Вдохнув морозный воздух полной грудью, он даже не расстегнул бушлат, нет, не расстегнул, а разворотил его своими узловатыми крупными пальцами до самого ремня и начал доставать из карманов кителя сигареты. Бесстрашие надо было срочно подпитать, и красные пачки под крик «Держи!» полетели в руки рассредоточенных по территории артиллеристов.

Завороженный собой Скатов даже не поразился невообразимой точности, с которой «Прима» начала попадать в руки сослуживцев. Иначе и быть не могло. Словно выдающийся баскетболист Майкл Джордан, он не мазал по кольцам-людям ни в пределах, ни за пределами мысленной трехочковой линии. Звездная болезнь посетила заправливого фейерверкера на шестой пачке, и он швырнул ее наугад. И о чудо! Какое-то баскетбольное кольцо в прыжке распласталось в воздухе футбольным вратарем и в двадцати сантиметрах от земли записало на счет армейского центрового еще три очка. Когда последняя девятая пачка отделилась от рук Скатова, он уже не только не боялся Леденева, но и забыл о нем.

Что-то непонятное творилось на уборке. Что-то родное, как гармошка, святое, как Русь, и гениальное, как простота, совершалось на расчистке снега. И уже нельзя было понять, почему Павлушкин вдруг подошел к Скатову, обнял его и выдал:

— Всеки¹ мне, брат, а то я тебе всеку!

Однако мы забыли упомянуть об одном обстоятельстве. С последней пачкой Скатов расстался довольно болезненно, в муках. Но это были по-своему радостные муки; так роженица со стопами отторгает плод, выталкивает его из своего чрева, чтобы он стал Человеком.

Птица растрогался, но о статусе сержанта, однако, не забыл. Он подумал, что разрешение на что-нибудь повредит ему в глазах курсантов, поэтому беспрекословным тоном стал запрещать все, что можно.

Первым долгом Птица запретил всем работать. Потом сержант объявил, что на перекуре, который он объявляет, «Приму» никто курить не будет. Третьим долгом Птица сказал, что четвертует всякого, кто станет дымить сигаретой не из его пачки; на этом пункте сержант даже занервничал:

— Похороню того, кто откажется от моего «Святого Георгия».

¹ Врезать, ударить (сленг).

Мультик по доброте душевной заметил:

— Может, сперва уборку закончим, товарищ сержант?

— Я тебя убью, Мультипликация, — ответил Птица, но это «убью» прозвучало как суровое отеческое «люблю».

Артиллеристы присели возле сугроба. В темноте зимнего утра вспыхнули светлячки зажженных сигарет.

— Мне надо к земле в соседний бат слетать¹, — произнес Птица. — Павлушкин за старшего. Как кончите — дуйте в казарму.

Артиллерийское счастье уборщиков территории длилось чуть дольше полета пушечного снаряда. Как только сержант скрылся за поворотом столовой, так сразу перед курсантами вырос помощник командира батальона по артиллерии старший лейтенант Коганов. Солдаты побросали бычки, поднялись, вытянулись.

— Курить полюбили, малыши? — спросил Коганов. — Где сержант?

Молчание...

— Язык проглотили?

Нет ответа...

— Знаете, что ждет сержантский состав через десять минут, а вас — после отбоя?

— Товарищ старший лейтенант, он на пять минут отошел, — ответил Павлушкин и поднес руку к козырьку, как пистолет к виску.

— Фамилия сержанта?

— Не могу знать!

— Два наряда.

— Есть два наряда!

— Фамилия сержанта? Я все равно узнаю в батарее.

— Не могу знать!

— Четыре наряда. Кстати, со своим сержантом в наряды ходить будешь. Уже вижу, как он тебя благодарит.

Бабанов попытался вызвать огонь на себя. Он подошел к офицеру, нелепо козырнул, словно почесал голову, и почтительно произнес:

— Столько нарядов ведь не по уставу, товарищ старший лейтенант.

— А врать офицеру по уставу? Четыре наряда на пару с партизаном.

— Есть четыре наряда! Только Павлушкин не виноват. Я за старшего. А Павлушкин не виноват. Я ему запретил говорить.

— Павлушкин тебя боится, что ли?

— Так точно!

Коганов обратился к Павлушкину:

— Ты его боишься?

— Никак нет!

— А почему он говорит, что боишься?

— Меня отмазывает, — с недовольством ответил Павлушкин.

— Похвально. За круговую поруку обоим еще по наряду накидываю... Фамилия сержанта?

— Без понятия, — развязно ответил Павлушкин, желая, чтобы поскорее все закончилось.

— Как надо отвечать офицеру, курсант?!

Леденеву во второй раз за утро стало не по себе. «Знает же наши законы, старлей чертов, — подумал он. — И ведь согласен же с ними. Сегодня Птицу сдадим, завтра его самого заложим. Все время просит, чтоб Саркисян его до дома проводил. Вечно ему гражданские рыло чистят».

— Товарищ старший лейтенант, — сухо произнес Леденев, — я назову вам фамилию сержанта.

— Слушаю.

— Вы мерзавец, фамилия сержанта — Птица. Это не все. Сержант ушел в соседний батальон, а вы... тварь. Это еще не все. Птица ушел проведать своего земляка, а вы даже хуже, потому что заставляете Павлушкина делать то, что здесь презирают все. Даже такие, как вы. Но и это еще не все. Тронете Павлуху или Боба — стукану комбату. Да да, стукану, — что смотрите? Начну закладывать так, что об алкоголе будете только мечтать, тенью вашей стану.

— Что?! — заорал Коганов. — Сгниешь у меня! — Старший лейтенант ударил курсанта в глаз.

Леденев отпечатался в сугробе, но подниматься не спешил. Он приложил снег к рассечению, оперся на локоть и, как ни в чем не бывало, занялся снизу опросом товарищей:

— Кто-нибудь что-нибудь видел?.. Ты, Бабанов?

— Нет.

— Ты, Павлушкин?

— Что-то сегодня глушит и сплит.

— Мультик?

— Я убираюсь вообще.

— Скатов?

— Да вроде нет.

— А че ты тогда лыбишься, Скатов?

— Я — нет. Я вообще серьезный.

— Ты в душе лыбишься, Скатов. Я вижу. Ты, наверное, подумал, что я — красный², а товарищ старший лейтенант...

— Ничего я не думаю, — перебил Скатов. — У меня вообще пусто в голове.

— Я убью тебя, если у тебя полно в голове.

¹ Батальон (арм. сленг).

² Стукач (арм. сленг).

— Я знаю.

— А я знаю, что у нас нет красных в батаре. И не будет! А синяк — это я в умывальнике поскользнулся. Потому что скользко. Вечно дневальные воды пональют, и мы падаем... Какие будут приказания, товарищ старший лейтенант?

— Занимайтесь.

Леденев поднялся рывком и бросил:

— Глушит, что ли?! Занимаемся!

Взгляды Коганова и Леденева пересеклись и за три секунды наговорили друг другу с три короба.

— Остаешься за старшего, — приказал проигравший офицер победителю-курсанту и понес руку к козырьку.

Увидев движение Коганова, Леденев рванул ладонь к шапке с такой скоростью, с какой спринтеры уходят со старта. Рука курсанта взяла под козырек на долю секунды быстрее руки офицера. Это была еще одна маленькая победа, великодушно отданная побежденному на финише.

Спустя две минуты после ухода старшего лейтенанта Коганова на горизонте появился пехотный прямоугольник, площадь которого сразу стали вычислять артиллеристы. «Высота — три человека, — прикидывали они. — Ширина — десять человек. Площадь равна десятию три».

— Их тридцать, — обратился Павлушкин к Бабанову. — Рослые, сука. Гориллы. Гранатометный взвод на уборку кинули.

— Тридцать один, — поправил Бабанов. — Сержика забыл посчитать.

— Нас меньше.

— Как всегда.

— Слышишь, как шаг ломают?

— Ага, не к добру. Если бы нас в поле зрения не было, я бы сказал, что они попросили сержика ноги разогреть, но сам понимаешь.

— Встряли, короче, по полной.

— И не слиняешь ведь. Впереди — махра, позади — сержики наши. Хошь не хошь — полезай в герои.

— Тоже мне герои... Я вот, например, до сих пор не догоняю, храбрые мы или нет.

— А ты, Павлуха, крысу в углу зажми. Вот тебе ответ.

Тут Леденев подошел к Павлушкину и Бабанову и сказал:

— Делаем коридор, интервал друг от друга — пошире, как будто мы не дрейфим, но и не провоцируем.

— Ну ты и стратег, Кутузов отдыхает, — покачив головой, заметил Павлушкин и обратился к Бабанову: — Теперь точно — дураки России посмертно.

— Хотя не пожизненно, и то плюс, — кисло улыбнулся Бабанов.

Целенаправленная беззащитность, сконструированная артиллерией, озадачила старшего сержанта пехоты Толканова.

«Как будто не видят, кто идет», — подумал он и приказал своим:

— Четче шаг, обезьяны! Крошить асфальт, а то пожрете у меня сегодня!»

Никакого внимания со стороны артиллерии.

— Дорогу махре, пидоры! — сорвался на крик Толканов. — Че, не видите, кто идет?! Смерть ваша идет, пидоры!

Получив пощечину, артиллеристы ватно-вяло сообразили коридор для пехотинцев; мол, не боимся, а с численностью неприятеля только остолпы не считаются.

Проход, организованный фейерверками, получился узким. Каждый инстинктивно хотел быть ближе к товарищу напротив.

— Уважайте себя, сколько вам будет угодно, — как бы говорили равнодушные лица артиллеристов. — Хотя до посинения. Мы вам в этом не только не препятствуем, но и помогаем по возможности, хоть нам до вас никакого дела нет.

Двойное чувство было у Толканова от поведения артиллеристов. Они вроде бы и не проигнорировали его приказ, несмотря на то, что курсантам строго запрещалось подчиняться чужим сержантам, и в то же самое время своими неторопливыми действиями дали ему понять, что он всего-навсего незванный гость, которому с холодной вежливостью угождают хозяева положения.

«Как для эков проход, а эти, типа, охрана по бокам», — вспомнилась Толканову отсидка по малолетке, и он заорал:

— Шире, пидоры!!!

Он хотел крикнуть «шире коридор, пидоры!», но от бешенства забыл вставить слово «коридор». Приказ отдавался артиллеристам, но это поняли только умные пехотинцы, которых в колонне было равным счетом восемь.

Остальные курсанты махры отнесли команду старшего сержанта на свой счет. Они решили, что Толканов хотел крикнуть «шире шаг, пидоры!», поэтому выбросили левые ноги вперед так, что чуть не сели на шпагат.

Неточная команда привела к сумятице в колонне пехоты. Шеренги смешались. Бравый прямоугольник за секунду превратился в жалкий овал, и какая-то овечья отара устремилась в артиллерийский даже не коридор, а прямо неосвещенный тоннель, потому что в глазах курсантов махры

потемнело от страха перед сержантом и опасной близости фейерверкеров.

— Овцы тупорылые, — в гневе закричал чабан на отару и пошел месить ее ногами. — Выровнять шеренги! — Вдоволь попинав паству, пастырь стал разоряться в адрес артиллеристов: — Че уставились?! Вам команда была, а не им! Шире коридор, обезьяны! — И он в сердцах зарядил пыром под зад какому-то комолому барану.

Артиллеристы, сочувственно вздохнув, покачали головами в адрес пехотинцев (мол, вишь, как у махры, всегда все через одно место) и сделали три шага назад.

В середине артиллерийского коридора пехотинцы остановились по приказу Толканова. Старший сержант стал мельничной работой рук стирать нелепый овал, который представляла собой колонна. Ластиком он был отменным. Под его ударами махра валилась на припорошенный снегом асфальт. Стерев овал, Толканов одним предложением «становись!» вновь нарисовал прямоугольник.

— Отряхнуться! — крикнул старший сержант, и уже через минуту колонна окрасилась в уставной цвет хаки.

«Снег притоптали, — наблюдая за пехотинцами, думали артиллеристы. — Ладно, че теперь, лишь бы поскорей свалили».

Толканов подошел к Павлушкину. Илье надо было опустить глаза и молчать, но он по деревенской наивности не выдержал и без задней мысли ляпнул:

— Мы вот вчера тоже шаг сбили, так гуськом потом по плацу наворачивали.

«Вот гнида-то, — подумали пехотинцы. — Намекает сержику, что и с нами так надо».

Однако Толканову показалось, что в словах Павлушкина все-таки присутствует задняя мысль-издевка.

— Ты че, душара, учить меня вздумал?! — взбеленился старший сержант. — Мне вообще до фени, как вас, уродов, наказывают! Я делаю так, как мне надо, всосал?!

— Так точно.

— Совсем вас, сучар, расслабили, — подвел итог Толканов и поставил Павлушкину подсечку.

«Что-то я, в натуре, не то сморозил», — подумал упавший на живот Павлушкин и грустно улыбнулся асфальту перед лицом.

И тут случилось страшное. Все пошло прахом для артиллерии.

— Вспышка слева! — ехидно улыбнувшись, крикнул Толканов.

Пехотинцы по команде бросились направо, в сугроб, и помяли геометрическую фигуру из сне-

га, которому всю уборку лепил Павлушкин с товарищами.

— Суки-и-и! — взвыл Илья. — Батарея — к бою! — И он первым ринулся на пехотинцев.

Соотношение сил на территории изменилось в пользу артиллеристов. Пехотинцев было все так же — тридцать человек плюс сержант, внешне очень похожий на человека. Если бы не Павлушкин, в которого вселился легион бесов, то и численность артиллеристов осталась бы прежней. Однако вселился, и штат фейерверкеров сразу раздулся до бюрократических размеров. К сожалению, автор не знает, сколько солдат насчитывает такое воинское формирование, как бесовский легион. Черт знает, сколько, наверное; у него и надо спрашивать.

Вскоре разошедшийся в драке Павлушкин стал напоминать будду, потому как его руки были всюду и везде. Илья как истинный антифашист карал пехотинцев, не разделяя их по национальному, территориальному и конфессиональному признаку. От его активных действий досталось трем правоверным мусульманам из Татарстана, парочке православных пензяков и язычнику-якату, свято верившему в то, что если обтянуть шаманский бубен кожей из артиллеристов и ударить в него сто раз, то на гражданке ему обеспечено расположение добрых духов.

Артиллеристы, в момент превратившись из защитников Родины в нападающих, ринулись в сугроб вслед за Павлушкиным и набросились на лежавших пехотинцев со страстью изголодавшихся любовников. И только не вооруженному ни гаубицей, ни хотя бы штык-ножом глазу гражданского человека могло показаться, что царице полей пришел конец. Наверняка так бы и случилось, если бы боги войны дрались в состоянии аффекта до конца. Однако в середине сражения в головах у артиллеристов возобладал антисуворовский здравый смысл, говоривший, что пехотинцев реально больше.

Мультик первым восстановился умом. От пинка одного гранатометчика он слетел с другого гранатометчика, но вместо того чтобы атаковать уже двух врагов, он свернулся на снегу в клубок, прикрыл голову руками и стал ждать расправы. Стимулируемые ударами пехотинцев, артиллеристы один за другим начали следовать благородному примеру Мультика, надеясь на то, что их немного побьют и оставят в покое.

Однако на всякий десяток адекватных людей всегда найдется три психа, которым все нипочем. Читателю, быть может, приятно будет узнать, что ненормальными оказались Павлушкин, Леденев и

Скатов. Они разыскивали друг друга в свалке, вооружились ремнями и построились в треугольник, который быстро стал Бермудским, потому что все пехотинцы, соприкасавшиеся с ним, теряли от боли ориентиры в пространстве и куда-то пропадали. Когда очередной курсант царицы полей, ужаленный ядовито-зеленой бляхой Леденева, скулит, завертелся волчком, Толканов не выдержал:

— Все! Строиться!

Пехотинцы с недовольством строились в колонну. Артиллеристы, угрюмо поглядывая на противников, поднимались с земли.

Толканов направился к Павлушкину, Леденеву и Скатову, чтобы лично засвидетельствовать им свое почтение. Ремни, извивавшиеся в руках тройцы опасными кобрами во время драки, с приближением старшего сержанта стали безвредными червями. Павлушкин, Леденев и Скатов были настоящими мужчинами, которым было хорошо известно, что сержанты как женщины; их нельзя трогать даже пальцем. Гордые и невозмутимые, курсанты в ожидании расплаты играли в цветик-семицветик.

— Убьет, — произнес Леденев.

— Не убьет, — сказал Павлушкин.

— Убьет, — выдал Скатов.

— Не убьет, — передумал Леденев. — Уважает.

— Убьет, — изменил мнение Павлушкин. — Из мести.

— Не убьет, — раздумал Скатов. — Посадят.

— Убьет, — оторвал последний лепесток Павлушкин.

Толканов смело подошел к Бермудскому треугольнику и тремя хуками справа сделал его безопасным для судоходства. Сила сержантских ударов была довольно слабой, но курсанты вдруг сделались само благоразумие и, как злодеи в индийских фильмах, картинно полетели вверх тор-машками.

«Неплохо приложился», — с гордостью подумал Толканов, но вдруг усомнившись в своих силовых качествах, посмотрел на пехотинцев.

— Мощно!.. Так им!.. Поубивали прямо!.. Знай наших!.. Вы Тайсон, товарищ старший сержант! — угодливо загомонила махра, а про себя подумала: «Фальшивки у тебя, а не руки, если в них табурета нет... Ноги у тебя — это да, а руки так — ручонки детские; да и ноги у тебя так себе, кирзачи любым ногам погоду сделают».

— Добивать, значит, не будем? — расплывшись в самодовольной улыбке, спросил Толканов.

— Так-то, конечно, сами теперь сдохнут, но лучше с контрольным, — тактично заметил один из пехотинцев, и товарищи наперебой стали под-

держивать его: «Надо бы, товарищ старший сержант!.. Лишним не будет!.. Они, суки, живучие!.. А то мы сами можем, чтоб вам руки не мять!»

— Крови вам мало, что ли? — удивился Толканов, и голос его постепенно начал набухать злостью. — Или я че-то не понял?! Может, кто-то считает, что я их погладил?! Что я недостаточно приложился?! Может, кто-то думает, что я их пожалел?! Или даже боюсь их?! А вдруг меня бляхой как вас, а?! Или напомнить, как три обезьяны вас как детей уделали?! Или че?!

— Никак нет!!! — рявкнула пехотная колонна, лаконично ответив на все вопросы разом.

Тем временем три артиллериста катались по земле, но не из-за того, что хотели дать Толканову окончательно утвердиться в роли супергероя. Просто они переиграли с показухой и действительно больно шлепнулись.

Леденев при падении сильно ушиб оба локтя, но грызть их было уже поздно, и он отыгрывался на снеге, хватая его как загнанный волк.

Скатов принимал страдания от копчика; парень непременно схватился бы за мягкое место обеими руками, но боялся насмешек в свой адрес. И смех и грех, читатель. Только тот, кто ронял мобильный телефон в сортир, сможет понять муки Скатова. Словом, и хочется, и колется.

Павлушкин упал удачно, но почувствовал себя виноватым, когда услышал рядом с собой приглушенные стоны Леденева:

— Павлуха-а-а, локти-и-и... Локти отбил — не могу-у-у.

Странен наш человек донельзя. Может, и поможет когда попавшему в сложную ситуацию, но чаще скажет, что, мол, не расстраивайся, мне сейчас хуже, чем тебе. Павлушкин был нашим человеком через край, поэтому не только сказал, что мне сейчас хуже, чем тебе, но и показал. Собравшись с духом, он незаметно нанес асфальту удар носом и обратился к Леденеву:

— Мне Толкан ваще нос сломал, кровь вон как хлыщет.

И обоим курсантам сразу стало легче.

Минут через пять на территории появился комбат.

— Сынок! — тихо-тихо позвал он Павлушкина, но под ногами у артиллеристов все равно заходила земля, как это бывает, когда где-то там, вдалеке, грохочет орудийная канонада. — Че за срач у вас тут? И почему звезда на твоей шапке не в шары мне светит, а вбок?

— Сбилась в работе, товарищ подполковник, — поправив шапку, ответил Павлуш-

кин. — А то, что сугробы разворочены, так это мы делали-делали и решили просто, что надо все порушить и заново переделать... Чтобы качественно.

Павлушкин любил и уважал комбата как родного отца, но все равно врал ему и не находил в этом ничего зазорного. А как иначе?! Отец ведь всякую сыновнюю пакость близко к сердцу принимает.

— Врешь, сынок. Скажи, что врешь, тогда причину спрашивать не стану.

— Вру, товарищ подполковник, — преданно посмотрев в глаза офицеру, признался Павлушкин и зачем-то добавил для убедительности: — Нагло вру.

— Ну, злодеи! — довольно усмехнулся комбат. — А сержант ваш где?

— Он, это... в туалет отлучился. По большой нужде. Живот, сказал, прихватило. Понос, видать.

— Неужто съел чего?

— Грибы, сказал, мать прислала. От грибов, видать.

— Да ну.

— Больше не от чего, товарищ подполковник. Оно всегда так: собирают в лесах всякой дряни, а потом травятся... Сказал, что прямо днище отрывает.

— Это он, сынок, вам наврал. Отрывало бы днище — он бы в родной батальон побежал, дотуда ближе. А он рванул в соседний.

— Может, отпустило по дороге? — неподдельно удивился Павлушкин. — Оно так бывает. Сперва прихватит, а потом вроде ниче, терпеть можно... Он по-любому за таблетками в соседний батальон побежал, чтобы повторного приступа не случилось. Птица всегда на упреждение работает.

— Сыно-о-ок, — погрозив пальцем, сказал комбат.

— Вы же знаете, почему я так, — понурил голову Павлушкин. — Всю жизнь ведь с нами.

— На войне тоже меня дезинформацией кормить будешь?

— Никак нет!

Сказав это, Павлушкин поглядел в ту сторону, где, по его мнению, находилось родное село. Взгляд его подернулся патриотической дымкой. В мыслях он уже командовал гаубицей «Д-30», потому что командир орудия, сержант Кузельцов, был, конечно, убит, а наводчик Герц, который должен был первым замещать командира, опасно для жизни ранен. Павлушкин и холм в Шушенском выбрал, с которого стрелять по неприятелю было наиболее удобно.

— Илюшенька, солдат ты наш родной, — как будто голосили женщины, старики и дети, — оборони нас кроме тебя никому!

А Павлушкин как будто отвечал им со своей стратегической высоты:

— А ну разойдись по погребам, поубивает к чертям!

Между тем защищал Павлушкин не родное Шушенское, а Иваново, потому что из-за слабой географической подготовки глядел не туда, куда хотел. Невесты из этого города даже не подозревали, что кто-то мысленно кладет за них жизнь.

— Очнись! — похлопав Павлушкина по плечу, произнес Бабанов. — Комбат свалил.

— Как свалил? — встряхнув головой, спросил Павлушкин. — Куда?

— Куда, куда — туда! А мы, короче, забили! на работу. Достало все.

Павлушкин осмотрелся. Его товарищи сидели на земле, обняв колени, опустив головы. Только Леденев, оставленный за старшего, бестолково суетился с лопатой возле помятого сугроба.

— А че?! — сказал Павлушкин. — Не будем сугроб выправлять, хрен с ним! Как в распагу придем — огребемса конкретно, зато будем знать за что! А сугроб — хрен с ним! Все сегодня будут проходить мимо и базарить: «Смотрите, артиллерия залупилась²! Красавчики!.. О, а че это Павлушкин с Леденевым тут ошиваются?! На фига сугроб чинят?! Все ж залупились, а они че?! Наверно, жопу кому-нибудь лижут!» А мы с Леденевым будем отвечать: «Мы против всех восстали, а сугроб не виноват! Он, урод такой, нам глаз не радует! Он наше эстетическое чувство коробит, как Герц не скажет! Для сержантов делаем?! Нет! Для комбата?! Да пошел он в данном конкретном случае! Для Путина?! Пусть катится вслед за комбатом! А мы тут для себя! Чтобы, может, один раз за день тут пройти, мельком на сугроб взглянуть и... жрать от такой лепоты, слепленной самолично, перехотеть! А, Леденев?!»

— Ну, не знаю насчет «жрать».

— А я тебе говорю, что я уже перехотел! Бабанов, завтрак — твой! Мультик, обед разделишь со Скатовым!

— А ужин кому? — спросил Оконешников.

— Ужин отдай врагу! — понесло Павлушкина. — Махру какого-нибудь угощу! Вот охренеет-то! Я от его удивления еще больше жрать перехочу! Нет, курить перехочу! Все курево махре раздам, чтобы перехотеть спать!

¹ Не желать что-либо делать, игнорировать (сленг).

² Восстать (сленг).

Потоки курсантского смеха, выброшенные из легких, породили ветер. Солдаты поднялись, разобрали инвентарь, и под звездным небом закипела такая работа, что через некоторое время Павлушкин даже стал окорачивать товарищей:

— Без кипежа¹! Уйми трудовой зуд! Не за тарелкой бигуса сидите!

Снежный параллелограмм поднялся за бордюром дороги быстро. Команду Леденева «строиться!» курсанты проигнорировали. Павлушкин, Бабанов и Мультик прохаживались вдоль сугроба, подтесывали шероховатости и сощещались.

— Может, увеличим стену? — предложил Бабанов. — Я за дополнительным снегом к соседям сгоняю.

— А потом можно кирпичи на стене вырезать, — расширил идею Мультик. — Как будто из кирпичей стена будет.

— И снеговиков на стену, — углубил идею Павлушкин. — Как будто часовые. Только носы не из морковки надо. Пацанов нехватка долбит² — сожрут. Из сосулук надо. На крыше бани нашибаем.

В творческом экстазе мастера хоть и помнили о времени, отведенном им на уборку, но были готовы пожертвовать им ради искусства. После возвращения в казарму неуставной сугроб грозил артиллеристам неприятными последствиями, но этот факт никого из парней не пугал.

Однако пострадать за искусство не так-то легко, потому что этому постоянно мешают птицы низкого полета.

— Строиться! — крикнула вернувшаяся в родные края Птица, синяя в районе правого глаза. — От комбата огребся! В темпе!

Продолжение следует.

¹ Суета (сленг).

² Мучиться от голода (арм. сленг).